

Вячеслав Чиликин

Аз-буки-веди

Летом девятнадцатого, ближе к осени, город жил ожиданием нового переворота. Тревожил дробный топот военных патрулей, опасались мобилизации. Старшего брата пора отдавать в школу, но отец, подумав, решил:

- Пусть годок переждет, может, все поуляжется, тогда уж...

Я не застал того времени, когда реальное училище императора Николая Второго стало советской трудовой школой. Знаю только, что получилось это очень негладко. Старые учителя ни в какую не хотели отказываться от ятей и твердых знаков, но их пригнали карами ГубЧК за неподчинение декрету советской власти, и все встало на свое место. Да и глаз быстро привык к новому письму, и уже не казались кургузыми слова без твердых знаков в конце.

А законоучителю, хмурому полику в широкополой шляпе, вежливо разъяснили:

- Закон Божий отменяется. Живем по закону революционного пролетариата. Так что байайте здоровья, батюшка.

Сторожихе и полойке тетке Палаше, туповатой, в вечно захлостанной юбке, велено было убрать иконы из класса, что она и сделала, с бабьей жалостью приговаривая:

- И не везет же тебе, Господи Сусе, то тебя распинают за всяко просто, то с божицы велят стащить, эх, жизнь твоя разнесчастная!

С приходом белых советская трудовая стала просто школой, попка попросили вернуться, но он только руками замахал. Будто чувствовал, что скоро по Троицкому проспекту валом повялят в оставленный белыми город полушубки, шинели, мужицкая зимняя лопотина «красных орлов».

Брат поступил в советскую трудовую.

Я ему завидовал, а он мне назло вставал в позу и хвастал своей образованностью: «Север, запад, юг, восток, а ты так не умеешь». На семейном кругу было решено учить меня грамоте: «Пять лет - самый возраст».

Жившая у нас тогда монашка, черная, пропахшая церковью, достала где-то азбуку на картоне, разграфленном квадратиками, усадила меня рядом и принялась наставлять:

- Смотри и запоминай: это аз, буки, веди...

- Теперь так, кажется, не

учат, - засомневался отец.

- Как Господь сподобил, так и учу.

И настал мой звездный час.

- А я умею читать, - радостно похвалился я соседнему Гаврилке, парнишке крупнее и старше меня, с невыразительным, каким-то бычьим лицом.

- Врешь, - смаху рубанул он.

«Пошел козел за лыками, коза за орехами», - затараторил я по специально захваченной книжке.

- Все равно врешь, - в круглых белесых глазах Гаврилки было несокрушимое неверие. У меня навернулись слезы злой бессильной обиды.

В школу я пошел в двадцать третьем году. До чего же несерьезным кажется мне теперь это старое деревянное строение возле пожарной! А тогда я робел перед огромным залом и классом в два наших дома и учительницей Валентиной Ивановной, круглолицей, с ямочками на пухлых щеках.

На всю жизнь запала в память последняя рождественская елка - вся в свечках, в игрушках из разноцветной бумаги, зеленое сияющее чудо из сказки! Мы ходили вокруг нее, взявшись за руки, и пели, с детской ясностью представляя и трусишку зайку, и сердитого волка, и мужичка в дровенках с топором.

Нам раздали подарки в бумажных кулечках. Домой меня несло легкой пушинкой, и у стола, при керосиновой лампе, продолжалась волшебная сказка. Те нарядные карамельки из кулечка и глухо постукивающие орешки я раскладывал так и эдак и любовался ими, никак не решаясь съесть. Это был, может, самый счастливый и уж, конечно, самый светлый день моей жизни. Радость детства не сравнима ни с чем.

Потом елку запретили как буржуазную забаву, вредную для пролетарских детей.

Первый раз как большой я гостил у Туси Тюганова, моего соседа по парте. Меня усадили обедать, и я не знал, куда девать свои худые неумелые руки. Тусин отец, инженер или техник кожевенного завода, сдвинув густые брови, жаловался домашним на кого-то:

- Ты ему слово, а он тебе десять, ты его, растяпу, пристрожишь, а он выкатит злые глазщищи - и на дыбы: «Это вам не старые времена!» Вот и поработай с такими...

Позднее, повзрослев, я узнал, каково приходилось тогда старым

специалистам. Они рядились под рабочих - в кепочки, в косоворотки, остерегались обидеть замечанием какого-нибудь синеглазого разгильдяя, узнавшего вкус анархической вольницы. Глазом не успеешь моргнуть, как выгрут тебя взащей и поставят на твое местовыдвиженца, красного слеца, пусть мало смыслящего в деле, зато рабочую косточку.

Удивительное все же для нас, школяров, наступало время - веселого гама, забавных новинек и затянутых поясов. Из школы второй ступени я принес домой очень серьезную, как мне казалось, новость, что хозяева в школе - мы, шумливые сорванцы, и больше никто.

- И как же вы будете хозяйничать? - хитро усмехнулся отец.

Вот этого-то я и не знал.

Меня выбрали в педагогический совет - представителем от учеников. Эти вечерние долгие сидения с непонятными взрослыми разговорами были для меня сущей пыткой. Морил сон, зато куда что девалось, когда начинали обносить чаем с бутербродами. А бутерброды-то с колбасой, а колбаса-то уже забытая, изумительная, с чесночком, с мелкими блестящими сала!

Тогда на детей давали по карточкам 350 граммов хлеба на день и на месяц килограмм пряников и полкило соленых груздей. Мы уже знали, что подсолнечный жмых, перед тем как есть, надо хорошенко распарить в печи, а то можно поломать зубы.

Мы самоуправлялись. Для слишком ретивых баловников придумали коллективное осуждение - бойкот. Объявлял эту строгую меру учком - ученический комитет. С наказанным нельзя было дружить и разговаривать. Но даже те, кто не дружил и не разговаривал, вдруг начинали с острым любопытством тягаться к штрафнику. С ним перемаргивались, на ходу перекидывались словами, а он чувствовал себя героем, выкаблучивался и задирал нос. Очень занятая получалась игра.

А учились мы через пень-колоду. Тогда было принято говорить не «выучить урок», а «проработать». По литературе мы прорабатывали «Неделю» Либединского, «Ташкент, город хлебный» Неверова, «Праронарушителей» Сейфуллиной, «Главную улицу» Демьяна Бедного... Такой была наша классика.

На каков-то время к нам приплутал американский Дальтон-план. Не знаю, как в Америке, а у нас получилось так: класс разбили на бригады, бригада собиралась в кружок, кого-то запрягали читать вслух учебник, а остальные сражались в морской бой или, нажав на комм бумагу, щелчком пальца посылали его кому-нибудь в шею. Потом снаряжали чтеца, который хоть что-то запомнил, сдавать зачет за бригаду, по его ответам и выставляли нам отметки, чаще всего «уд».

Кажется, главнее учебы ставили общественную работу. Стоит, бывало, Мишка Ельцов у доски, смотрит на нее непонимающими глазами, хрустит набум мелом, и вдруг открывается дверь, и дежурный по залу кричит, перебивая учителя:

- Ельцов, к телефону, горком комсомола!

Мишка облегченно кладет мел, вытирает пальцы и, напустив на лицо деловитость, поспешно выходит из класса. А Никита Иваныч, старый математик, поперхнется на полуслове и только плечами пожмет.

Песни мы пели больше воинственные:

Лозунг наш старый «Долой капитал»

... В Европе напишем штыками.

А узнав, что дежурный по разведке старичок Болотов - бывший офицер, так и закипели негодованием:

- Офицер? Белогвардеец?

Вражина? - подступали к нему. А он молча отводил водянистые младенческие глаза и виновато моргал бескровными веками. Зато жена его, ехидная сухопарая старушонка, так и взвизывала.

- Какой он офицер, он унтер-офицер, все равно что солдат!

Нам так и не довелось полудски закончить седьмой класс. Кому-то взбрело в голову все школы второй ступени сделать фабрично-заводскими. Старшие классы были распущены, а с нами, семиклассниками, спешно расстались в середине весны. Не было ни прощального застолья, ни веселого встречи солнечного восхода.

Пошумели, покуролесили напоследок и разберлись, кто куда. Не знаю, кому какой выпал жребий, кому что наворожила судьба.